

Северная Звезда

— Чурилов М. В. —

С.-ПЕТЕРБУРГ
НАБ. МОЙКИ, 32
★
СТАРЫЕ КНИГИ
РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ
★
РУКОПИСИ



Несколько мгновений одной жизни

Максим Чурилов

**Несколько мгновений одной
жизни - Том 2. Северная Звезда**

«Автор»

2026

Чурилов М. В.

Несколько мгновений одной жизни - Том 2. Северная Звезда /
М. В. Чурилов — «Автор», 2026 — (Несколько мгновений одной
жизни)

В маленькой петербургской лавке Павла Волконского среди канцелярской макулатуры находится старая конторская книга. На её страницах — не счета и ведомости, а морские записки Семёна Игнатьевича Клеткина, старого матроса, для которого последний рейс парохода «Северная Звезда» стал испытанием человеческой стойкости. Архангельская пристань, штормовые приметы, пожар в машинном отделении.... Клеткин пытается сделать невозможное: удержать исчезающих людей хотя бы в слове — с их голосами, привычками, ошибками и надеждами. «Северная Звезда» — вторая книга цикла. Это самостоятельная психологическая морская повесть с мистической атмосферой: о забвении и памяти, о старости, о долге перед мёртвыми и о тихой книжной лавке, где чужая рукопись вдруг становится чьей-то последней пристанью.

Содержание

Глава 1. Старая конторская книга	5
Глава 2. Последний берег	10
Глава 3. Команда	15
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Максим Чурилов

Несколько мгновений одной жизни - Том 2. Северная Звезда

Глава 1. Старая конторская книга

Новый год вошёл в Петербург не звоном и белизной, а как входят в комнату, где спят больные: боком, без шума, стараясь не зацепить скрипучую половицу. В городе не было настоящей зимы — той властной, чистой, когда камень вдруг делается сказочным, а воздух, ударив в грудь, заставляет человека вспомнить о собственном дыхании. Была серая слякоть, припухшая у тротуаров; был редкий снег, похожий не на снег, а на стёртую пыль мела по краям крыши; был полумрак, в котором день и ночь, утомившись спорить, заключили между собой сомнительное перемирие.

Колокольная улица, обычно и без того не склонная к веселью, казалась утром особенно пустой. Где-то за туманом звенел трамвай — не приближаясь и не удаляясь, будто звон этот шёл не по улице, а по памяти. Дворники лениво гнали к лоткам мутную жижу; жижа, обиженная, возвращалась обратно. Прохожие держались ближе к стенам, поднимали воротники, шли быстро, с той петербургской поспешностью, в которой нет надежды успеть, а есть только желание поскорее миновать очередной неприятный отрезок пространства. Город принял январь без торжества и без протеста: как принимают известие, которого давно ждали и от которого всё равно становится холодно.

Для Павла Волконского, владельца маленькой книжной лавки с выцветшей вывеской и узким окном, похожим на монашескую бойницу, смена года почти ничего не меняла. Разве что в первые январские дни приходили особые люди. Накануне, под ёлкой, среди огарков свечей, недопитых бокалов и усталых обещаний, они успевали убедить себя, что с этого года непременно начнут жить иначе. А чтобы жить иначе, следовало избавиться от прежнего. От старых пальто. От ненужных бумаг. От книг, которые годами стояли на полках как молчаливые свидетели несбывшейся образованности.

Павел не смеялся над такими порывами. Лавка давно отучила его от поспешных суждений. Книги, в отличие от людей, не торопились; они знали, что хозяева меняются быстрее переплётов, что клятвы истончаются к марту, а самые решительные намерения тонут в первой же оттепели. Книги умели ждать. Иногда — по несколько поколений.

Он поднялся затемно. В задней комнате было сыро; углы за ночь набрали ту липкую стужу, которая не блестит инеем, но въедается в рукава, в воротник, в кости. Печка сначала только дымила и капризничала, щёлкала сырыми поленьями, но потом огонь, собравшись с силами, пошёл по ним жёлтыми языками, и в лавке медленно обозначилось утро. Павел открыл дверь в торговую комнату, выпустил остатки ночного холода, протёр витринное стекло. На нём проступали мутные узоры, и за ними улица казалась не настоящей, а увиденной сквозь старую слюду.

В лавке пахло бумагой, старым клеем и немного дымом. Запах этот не был простым: в нём различались годы, руки, шкафы, влажные квартиры, чердаки, карандашная пыль на полях, переплётный клей, который со временем приобретает кислотоватую, почти человеческую усталость. Павел давно перестал отделять этот запах от собственной жизни. Лавка стала ему не профессией и не жилищем, а медленным продолжением тела: полки — памятью, прилавки — ладонью, печка — сердцем, которое нужно растапливать каждое утро, иначе всё остывает.

К полудню серый свет за окном сделался не ярче, а только тоньше, и посетители пошли один за другим. Первым явился чиновник на пенсии — с лицом отёкшим, важным по привычке и уже никого не убеждающим. Он выложил на прилавок тяжёлые тома служебного права, потускневшие, с золотыми буквами на корешках. Когда-то эти корешки, вероятно, обещали ему чин, положение, лестницу вверх; теперь лежали, как ступени, ведущие назад.

— Всё равно уж на пенсии, — сказал чиновник. — Зачем мне это?

Павел кивнул. Он знал такой тон: человек пришёл не продать книги, а снять с себя часть собственной биографии.

Потом вошла молодая пара. Молодой человек, пахнувший новым пальто и лёгкой самоуверенностью, рассказывал жене о шкафе из карельской берёзы с таким оживлением, будто шкаф был не мебелью, а будущей семейной легендой. Книги они выбирали по переплётам. Девушка прикладывала тома к воображаемой полке, шурилась, оценивала цвет кожи, толщину корешка, золотое тиснение. Павел показывал им красивые издания и молчал. У него не было ни сил, ни права объяснять людям, что книга, поставленная ради цвета, всё равно когда-нибудь дождётся читателя — не этого, так следующего.

Ближе к двум пришёл старик с латинскими учебниками. По осторожной походке, по чистому, но засалившемуся воротничку, по тому, как он держал книги обеими руками, будто боялся их уронить, Павел сразу понял: бывший учитель. Старик долго оправдывался. Зрение уже не то; буквы плывут; читать трудно. Учебники были дореволюционные, с пожелтевшими страницами и тонкими пометками на полях. На одной странице Павел заметил аккуратное: «не путать *causa* и *culpa*» — и почему-то эта мёртвая школьная строгость тронула его сильнее, чем стариковы жалобы.

— По ним я ещё в гимназии учил, — сказал старик и запнулся. — До всего этого.

«До всего этого» вместило в себя не фразу, а страну, которой больше не было. Павел назначил цену честнее, чем требовала торговля. Старик ушёл медленно, словно с его плеч сняли не две книги, а маленькую, но упрямую эпоху.

Когда дверь открылась снова, Павел почти заранее услышал обычное: «осталось от покойного». На пороге стоял сухой, невысокий господин в тёмном пальто с каракулевым воротником. Он говорил быстро, отрывисто, не задерживая взгляда на вещах, будто боялся, что какая-нибудь из них узнает его и потребует сыновнего чувства.

— От батюшки, — объяснил он. — Коллежский асессор был. Служба, бумаги, всякое такое. Морское ведомство. Может, что возьмёте? Лишь бы не на макулатуру. Отец не любил, когда бумагу выбрасывали. Говорил: в каждом листе чья-то работа.

Он поставил на пол два тяжёлых ящика, ещё один — на прилавок. Ящики были департаментские: крепкие, грубые, пахнущие пылью и канцелярской сухостью. Павел пододвинул лампу и начал перебирать содержимое. Там было именно то, что он ожидал: конторские книги, формуляры, отчёты, инструкции по канцелярскому делопроизводству, составленные таким языком, от которого сон подступает не после чтения, а уже после заглавия. Столбцы цифр стояли в них ровно, как солдаты на плацу; чернила выцвели до бурого; позолота на корешках облезла, сохранив лишь намёк на прежнюю казённую важность.

Но всякая куча бумаги, если не презирать её заранее, имеет свой тайник. Между отчётами нашлись томики Фета и Тютчева, несколько малоизвестных поэтов в мягких, затёртых переплётах; в одном лежал засохший цветок, уже не жёлтый и не алый, а стеклянно-бледный, как память о цвете. Попались две богословские книги с женскими пометками — мелкими, старательными, с завитками на заглавных буквах. И наконец Павел достал конторскую книгу.

Она была такой же формы, как прочие, но сразу отличалась от них, как живой человек в толпе манекенов. Обложка — тёмно-коричневая, почти чёрная; на лицевой стороне светлел прямоугольник от давно отвалившейся этикетки. Корешок истёрся до блеска, углы размягчились и округлились; книгу держали в руках часто, не для вида. Павел взял её и ощутил

тяжесть — не только картонную и бумажную, но странно собранную, сосредоточенную, как будто внутри лежали не листы, а чей-то неоконченный счёт.

Он открыл на середине и увидел не колонки «приход» и «расход», не цифры и подписи, а ровный, угловатый почерк. Строки шли свободно, местами темнели от нажима, местами сбились, как дыхание человека, который слишком долго молчал и вдруг решил сказать главное. Бумага была голубовато-линейная, с водяными знаками: на просвет угадывался двуглавый орёл, старый, почти призрачный, заключённый в толщу листа. Вверху страницы стояло: «Записки морские. С. И. Клеткин».

— Записки морские, — негромко прочёл Павел.

Слова прозвучали в лавке без всякой торжественности, и оттого в них оказалось больше силы. Не «путешествие», не «мемуары», не «жизнеописание», не литературное приглашение к приключению. Просто — записки. Рабочее слово, почти бухгалтерское. И рядом — «морские», то есть уже не счёт денег, а счёт ветра, воды, имён, исчезновений.

— Это, кажется, отец от какого-то моряка получил, — сказал господин, поглядывая на часы. — Или сам тот оставил. Не знаю. У нас она с детства на верхней полке валялась, за другими. Батюшка всё собирался прочесть основательно, да так и не собрался. Теперь уж сами понимаете.

Павел понимал. Он понимал и безразличие сына, и его неловкость, и торопливую вину, которую тот хотел поскорее обменять на деньги и свободное место в квартире. В мире всегда есть те, кто собирает, и те, кто потом разбирает. Вторые не обязательно хуже первых; просто память, доставшаяся по наследству, редко бывает по плечу.

Он перелистал книгу осторожнее. В начале шли короткие записи: дата, место, погода, судно. «Архангельск. Ветер северо-западный. Небо низкое». «На рейде стояли двое суток, ждали угля». «Вышли при свежей волне». Так пишут люди службы, привыкшие не украшать обстоятельства, а закреплять их на бумаге. Дальше строки становились длиннее, свободнее. Из сухих отметок постепенно выступал голос. Не красноречивый, не книжный, но упорный; голос человека, который не хочет прославиться и не ищет оправдания, а боится другого — чтобы имена исчезли.

Павел задержался на странице, где Клеткин писал, что моряк боится не столько воды, сколько забвения. Если человек утонул, а его фамилию перепутали или не внесли в список, выходит, будто его и не было: не ходил по палубе, не ругался на холод, не берег в кармане письмо, не надеялся вернуться. Эта мысль была записана просто, без нажима; тем сильнее она ударила. Павел слишком часто держал в руках частные тетради, чтобы не знать: подлинность редко бывает гладкой. Настоящий голос шершав, иногда неловок, но в его неровности и слышно сердце.

— Возьмёте? — спросил господин. — Выбрасывать совестно. Всё-таки человек писал.

Павел не ответил сразу. Он держал книгу раскрытой, смотрел на угловатые буквы и думал о том, сколько подобных тетрадей погибло без шума: сгорело в печах, ушло на обёртку селёдки, размокло на чердаках, было выметено после смерти хозяев вместе с пылью. Память редко погибает величественно. Чаще её просто принимают за хлам.

— Возьму, — сказал он наконец. — Остальное переберу. Что-то пойдёт на вес, что-то, может быть, оставлю. А это — отдельно.

Слово «отдельно» успокоило посетителя. Павел назвал цену — не щедрую до глупости, но и не унижительную. Торговаться за такую вещь он не стал: в ней продавалась не бумага. Вернее, бумага только меняла стол, лампу и хранителя.

Господин пересчитал деньги, сунул их в бумажник, поклонился коротко и исчез. За ним остался запах дешёвого одеколона и облегчения: сдано, решено, забыто. Для него история закончилась. Для Павла — началась.

К вечеру лавка опустела. За окном фонари расплывались в тумане жёлтыми пятнами, мокрая мостовая принимала их свет и тут же гасила. Печка потрескивала вполголоса; под потолком висела тонкая дымная теплота. Павел сел за стол, подвёл лампу ближе и открыл конторскую книгу уже не как товар, а как письмо, адресованное, может быть, неизвестно кому, но всё-таки дошедшее.

Он вспомнил другую тетрадь — историю юноши, туманного городка и комнаты без таблички. Та рукопись пришла к нему иначе и говорила другим голосом: нервным, городским, почти лихорадочным. Павел уже знал: каждую найденную книгу надо слушать с нуля. Нельзя старого моряка заставлять говорить интонацией юноши, как нельзя мерить шторм меркой петербургского дождя.

На внутренней стороне обложки, тонким карандашом, он сделал помету: «Морские записки. С. И. Клеткин. Найдено в библиотеке Н. Н.». Он писал не для каталога и не для продажи; просто хотел оставить след, по которому потом можно будет восстановить дорогу вещи. У каждой книги есть биография. Иногда она важнее переплёта.

Первая страница начиналась без предисловий и извинений. Никаких «я не писатель», никаких просьб не судить строго. Сухая дата, место — Архангельск — и сразу: «Сегодня мне шестьдесят два года, из них сорок я хожу по морю. Это, вероятно, мой последний рейс».

Павел перечитал фразу. В ней не было театра. Одно слово — «вероятно» — удерживало её от каменной окончательности, но и не позволяло укрыться в надежде. Так человек говорит о погоде, о боли в груди, о судьбе: спокойно, потому что спорить уже поздно, а кричать — не к кому.

Дальше шла «Северная Звезда»: пароход у архангельской пристани, низкое небо, женщины на берегу, молчаливые мужики с папиросами, угольный дым, сырой ветер. Клеткин описывал всё без желания понравиться. Его фразы были коротки, иногда грубоваты, но точны. Он не любовался севером; он его знал. Не украшал море; он слишком долго от него зависел.

Павел дошёл до места, где старый моряк стоял на пристани с письмом жены в кармане и часами в ладони. Письмо было простое: о хозяйстве, о печке, о соседском мальчишке, о том, что жизнь на берегу идёт, даже когда человек снова уходит в воду. И в конце: «Если уж тебе надо, то иди, Семён. Только, если можно, вернись». В этих словах было больше любви, чем в самых пышных признаниях: не удержать, не проклясть, не обвинить — благословить и всё же попросить о невозможном.

Часы Клеткин упоминал вскользь, но перо на слове «часы» будто задержалось. Чернила там были темнее, линия плотнее. Павел невольно прислушался. Над дверью его собственной лавки тикали старые часы, купленные когда-то на толкучке. Сегодня их ход показался громче. Или память сама подставила звук к чужой фразе. Павел не стал разбирать это совпадение. В жизни, как и в книгах, есть узлы, которые лучше не развязывать слишком быстро.

Конторская книга, когда-то предназначенная для счётов, превращалась в другой счёт — не денег, не товара, не казённого имущества. В ней пересчитывались минуты, оставшиеся человеку; имена тех, кого море могло стереть; жесты, которые не войдут ни в рапорт, ни в газетную заметку. Она была тяжёлой потому, что в ней лежало время.

Павел поднял глаза на полки. Ряды книг молчали, но это молчание уже не казалось пустым. Где-то между толстых томов стояла тетрадь без названия — память о юноше в тумане. Теперь рядом с ней появится конторская книга Клеткина. Лавка на Колокольной, тесная и тёмная, всё гуще заселялась чужими жизнями; и странным образом от этого становилась просторнее. Не как склад, а как маленькая пристань, где задерживаются те, кого больше нигде не ждут.

Он закрыл книгу на том месте, где Семён Игнатьевич ещё не ступил на трап «Северной Звезды», ещё стоял на берегу между домом и морем. Опыт подсказал Павлу: не спешить. Одно дело — читать беду, когда она уже случилась и выстроилась в рассказ. Другое — войти в неё вместе с человеком, не забегая вперёд, позволяя каждой странице сделать своё дело.

Он положил книгу не на полку и не в ящик, а на край стола, прямо под лампу: так кладут письмо, на которое ещё не ответили; так оставляют возле постели книгу, к которой уже привязалось сердце.

За окном ветер усилился, тронул раму, прошёлся тонким воем по щелям. До моря отсюда было далеко, но в этот вечер расстояние сократилось: в звуке ветра появилась не вода, не чайки, не береговая соль, а та безличная широта, перед которой человек делается малым и потому особенно ясным.

— Ну что, Семён Игнатьевич, — тихо сказал Павел, глядя на потёртую обложку, — посмотрим, как вы свой последний рейс записали.

И впервые за день почувствовал не обычное любопытство букиниста, а ответственность. К нему пришла не вещь, а память, и теперь от него зависело, останется ли она просто старой бумагой или снова станет голосом.

Поздно вечером он погасил лампу и прошёл в заднюю комнату. Лавка погрузилась в полутьму. На краю стола лежала старая конторская книга; в её закрытых листах, между чернилами и временем, ещё дышали те, кто давно ушёл в море и не вернулся.

Глава 2. Последний берег

Архангельское утро было не зимним и не осенним, а каким-то промежуточным, лишённым возраста, как лицо больного при плохом свете. Небо висело низко, без складок и просветов; от реки тянуло железной сыростью. Вода у пристани ещё не стала льдом, но уже перестала быть водой: тяжёлая, свинцовая, она ворочалась под тонкими льдинами, будто под одеялом, которое не греет. Складские крыши чернели от мокрого снега. У фонарных столбов стояла жёлтая грязь. Лошади, запряжённые в подводы с углём, опускали головы так покорно, словно знали: в этот день всем предстоит тащить что-нибудь тяжёлое.

Пристань, впрочем, жила. В городе всё ещё тянулось утро, а здесь уже был день — грубый, деловой, пахнувший дымом, мокрой шерстью, ржавчиной и человеческой тревогой. Грузчики ругались коротко, без огня, больше для порядка; портовые чиновники переходили от кучки к кучке с папками под мышкой; женщины стояли у края настила и смотрели на пароход так, как смотрят не на вещь, а на приговор, который ещё не прочитан вслух.

«Северная Звезда» у причала казалась больше, чем была в действительности. Чёрный борт поднимался из мутной воды с тяжёлой, почти животной уверенностью. Краска местами облупилась, труба была залатана, палубные доски, сколько их ни драили, хранили прежнюю соль, угольную пыль и пятна неизвестного происхождения. Но в судне чувствовалась надёжность не нового, а много вынесшего: оно не обещало лёгкого пути, зато не притворялось праздничным. В его брюхе уже дышала машина. Пар подрагивал в трубах, где-то внизу глухо отзывалось железо, и от этих звуков берег понемногу терял право считать корабль своим.

Семён Игнатьевич Клеткин стоял в стороне от трапа. Он всегда становился так — не из гордости, а из нежелания мешать молодым. Юнги и матросы с мешками, кочегары с узлами, пассажиры с чемоданами, перевязанными верёвкой, шли через трап торопливо, как будто сам борт мог передумать и оттолкнуть их обратно. Семён давно перестал верить в спасительность спешки. Человек, проживший сорок лет на воде, узнаёт цену медленному движению: не тому, которое от слабости, а тому, которое ничего не роняет по пути.

В левой руке он держал часы. Старые карманные часы в латунном корпусе, потёртом до тусклого блеска. Стекло треснуло давно, во время качки: часы выскользнули из жилетного кармана, ударились о палубу, и Семён тогда решил, что всё — конец. Но стрелки продолжали идти. С той поры трещина, тонкая и косая, жила на стекле как память о том, что иногда вещь ломается не в самом главном месте и потому остаётся верной. Он не чинил её. Моряк не обязан заделывать каждый шрам, иначе к старости у него не останется доказательств, что он действительно жил.

В правом кармане шинели лежало письмо жены. Оно отяжелело от сырости и от того, что он уже слишком много раз брал его в руки. Бумага была дешёвая, с неровным краем; на сгибе проступала темноватая полоса, будто письмо заранее знало, где когда-нибудь порвётся. Семён помнил его почти дословно. Там было о дымящей печи, о курице, которая лезет в грядки, о соседском мальчишке Ваньке, который носит воду быстрее старого Митрича, но половину расплёскивает по дороге. Для чужого — ничего. Для него — весь берег: изба, тёплый хлеб под полотенцем, скрип половиц, жена у окна, не молодая уже, с тяжёлыми руками и той усталой прямоотой во взгляде, которую не портят годы.

В конце она написала: «Если уж тебе надо, то иди, Семён. Только, если можно, вернись». Он не перечитывал эту строку теперь, на ветру, при людях. Незачем. Она и так лежала в нём, как лежит под одеждой нательный крест: не на виду, но всё время рядом с сердцем.

Прощались они без плача. Она стояла у порога, держась за косяк, и не то чтобы провожала его взглядом, а как будто запоминала место, где он только что был. Молодые жёны в такие минуты плачут, торгуются с судьбой, обнимают так крепко, будто руками можно удержать уxo-

дящий пароход. Его жена давно знала: удержать нельзя. Можно только отпустить человека так, чтобы он не унёс с собой обиды. Она сказала ему тогда почти буднично:

— Ну, иди. Раз надо.

И после паузы, уже тише:

— Только смотри там. Сердце у тебя не казённое.

Он хотел ответить шуткой, но не сумел. Поцеловал её в висок — волосы пахли дымом и мукой — и вышел, чувствуя на спине не взгляд даже, а целую жизнь, которая остаётся за дверью и всё равно идёт вместе с ним.

— Семён Игнатьич!

Голос выдернул его из домашнего тепла в архангельскую сырость. К трапу, осторожно переставляя короткие ноги по скользким доскам, пробирался Пивцов — коренастый матрос лет сорока пяти, с лицом, будто вырезанным из старой, почерневшей от соли доски. Все звали его Молодым. Прозвище дали когда-то в насмешку, когда он, уже не мальчишка, пришёл в команду и слишком усердно доказывал, что ещё годится. Теперь оно прилипло к нему так крепко, что настоящая фамилия звучала почти официальной выдумкой.

— Ты чего тут памятником поставлен? — спросил Пивцов, шумно дыша. За плечом у него болтался холщовый мешок, штопанный в трёх местах. — Пошли, а то трап уберут, будешь потом проситься, как барыня на балкон.

Семён улыбнулся уголком рта.

— Пока я тут, трап не уберут.

— Слышали? — Пивцов оглянулся на ближайшего грузчика. — Без Клеткина, значит, пароход не отходит. Сорок лет по морю — и уже человек думает, что сам ветер у него разрешения спрашивает.

Он говорил с привычной насмешкой, но в насмешке этой было тепло. Между старыми моряками о нежности не говорят; её прячут в ворчании, в прозвищах, в грубых шутках, чтобы она не смущала обоих.

— Пойдём, — сказал Пивцов уже тише. — Ноги на земле мёрзнут. На борту хоть машина греет.

Семён не сразу двинулся. Он посмотрел на берег — не широко, не прощально, а внимательно, как смотрят на страницу перед тем, как закрыть книгу. У складов стояли женщины. Они не махали платками и не кричали, как это, вероятно, бывает в южных портах, где чувства любят солнце и площадь. Северные женщины стояли молча. У одной на руках спал ребёнок, у другой к подолу прижималась девочка в большом, явно чужом платке; третья держала узел с гостинцами, которые уже не успела передать. Лица их были суровы не от нелюбви, а от привычки не помогать беде лишним шумом.

Семёну показалось, что одна из них смотрит прямо на него: низкая, плотная, в коричневом платке, заправленном под воротник пальто. Черты лица с такого расстояния не разобрать, и он не стал вглядываться. Просто снял шапку и на мгновение поднял её над головой. Не ей одной — всем им. Тем, кто остаётся, всегда тяжелее: уходящий хотя бы занят дорогой, а оставшийся должен жить с пустым местом за столом.

— Ну, будет, — пробормотал Пивцов, но тоже притих.

Они пошли по трапу. Доски были мокрые, скользкие, пропитанные солью, дёгтем и жиром, и каждая отзывалась на шаг своим голосом: одна скрипела тонко, другая стонала глухо, третья молчала и только чуть проседала под подошвой. Семён ставил ногу на середину, избегая краёв. Эта осторожность давно стала не мыслью, а телом. Море чаще всего берёт человека не в героическую минуту, а через мелочь: неправильно поставленную ногу, незастёгнутый карман, верёвку, оставленную там, где о неё споткнутся в темноте.

На палубе их встретил молодой вахтенный с лицом почти детским и глазами, ещё не научившимися смотреть прямо. Он отдал честь поспешно, не столько Семёну, сколько самой

седине, морщинистым рукам, старой выправке, в которой для новичков было что-то пугающее. Для таких мальчишек старые матросы казались частью корабельного устройства: как лебёдка, якорная цепь или машинный телеграф. Они существуют давно, знают больше положенного и могут вдруг заговорить таким тоном, от которого у тебя немеют пальцы.

— Носовая? — спросил Пивцов.

Вахтенный кивнул.

— Так я и знал, — проворчал Пивцов. — Стариков вперёд, к волне. Чтобы не скучали.

Они спустились по крутой железной лестнице. Внутри пароход пах иначе: не рекой и ветром, а углём, краской, потом, машинным маслом и мокрым деревом. Этот запах нельзя полюбить сразу; к нему прирастают годами. Потом он начинает сниться на берегу и тревожить сильнее любых воспоминаний. Коридор был низкий, с жёлтым светом лампы под защитной сеткой; тени от их плеч скользили по переборкам, растягиваясь и ломаясь на заклёпках.

Каюта оказалась обычной: две трёхъярусные койки, столик, прикрученный к полу, круглый иллюминатор величиной с тарелку, крючки для одежды, под койками ящики. Ничего лишнего, ничего уютного — и именно поэтому надёжного. Роскошь на судне всегда подозрительна: что слишком хорошо держится на месте, первым же штормом будет сорвано.

Пивцов бросил мешок на нижнюю койку.

— Царские палаты, — сказал он. — Помнишь «Елизаветину»? Нас тогда в такую щель запихнули, что я три недели во сне колени у подбородка держал.

Семён провёл ладонью по краю стола, проверил крепление, потом швы у переборки, защёлку на дверце ящика, крюк у стены. Не потому, что не доверял кораблю; просто доверие у моряка начинается с проверки.

— Всё щупаешь, — заметил Пивцов. — Будто избу купил.

— Что можно проверить — проверь.

— А что нельзя?

— То и без нас случится.

Пивцов хотел отшутиться, но не нашёлся. В этой короткой фразе было слишком много их общей службы. Он сел на койку, развязал мешок, достал рубаху, кусок мыла, обёрнутый в тряпицу, две пары грубых носков. Всё разложил с напускной небрежностью, хотя Семён знал: у Пивцова каждая вещь имеет своё место. Неряшливость на суше может быть характером; на море она становится опасностью.

Семён положил часы на стол. Металл негромко стукнул о дерево, и звук этот, маленький и отчётливый, вдруг показался в каюте чужим. Часы продолжали идти. Он слышал их сквозь гул парохода, сквозь шорохи Пивцова, сквозь далёкое дыхание машины. Тик. Так. Тик. Так. Неумолимо и почти ласково.

Он достал папиросу, покатал между пальцами, но не закурил. В груди держалось странное чувство. Не страх, не тоска, не дурное предчувствие. Скорее спокойная, плотная мысль, которую невозможно доказать, но невозможно и отогнать: этот рейс — последний. Не потому, что Бог шепнул, не потому, что сон приснился, не потому, что сердце кольнуло. Просто вся его жизнь, со всеми вахтами, штормами, погибшими товарищами, письмами, портами, болезнями, сединой, сошлась в эту точку и встала за его спиной.

Когда он был мальчишкой, море казалось выходом из тесноты. За горизонтом, думал он тогда, непременно есть нечто такое, что объяснит и изменит жизнь. Потом выяснилось: за горизонтом — другой горизонт; за одним ветром — следующий; за одним спасением — новая беда. Море ничего не объясняет. Оно только долго спрашивает человека, кто он такой, пока тот не устанет притворяться.

— Ты чего притих? — спросил Пивцов.

— Считаю.

— Деньги? — Пивцов оживился. — Тогда не забудь: ты мне с прошлого рейса за табак должен.

— Не деньги.

— А что?

Семён посмотрел на него. Пивцов перестал улыбаться раньше, чем услышал ответ.

— Сколько осталось.

В каюте сделалось тише. Машина внизу работала, по палубе над головой кто-то прошёл тяжёлыми шагами, за переборкой глухо ударил ящик, но тишина всё равно появилась — не отсутствие звука, а запрет на лишние слова.

Пивцов медленно сложил рубаху, хотя она уже была сложена.

— Брось, Семён Игнатьич, — сказал он наконец. — Кто считает, тот всегда ошибается. Море свои счёты отдельно ведёт.

— Вот и я о том.

Они посидели немного, не глядя друг на друга. У каждого старого моряка есть внутренняя книга, которую он никому не показывает. В ней не только рейсы и порты, но и фамилии тех, кто исчез за бортом, чьи вещи потом делили молча; лица тех, кого хоронили в чужой земле; случаи, когда смерть прошла рядом, задев рукав, но почему-то выбрала другого. К молодости эта книга тонка и почти пуста. К старости она тяжелее всякого сундука.

— Пойдём наверх, — сказал Пивцов. — Сейчас капитан речь держать будет. Если пропустим, он подумает, что мы уже померли без приказа.

Семён взял часы, застегнул карман и поднялся. Этот жест — проверить клапан — был старым суеверием, почти молитвой. Часы не должны выпадать. Вещь, которая отмеряет время, нельзя отдавать воде раньше срока.

На палубе собралась команда. Матросы стояли кучками, курили, прятали руки в рукава; кочегары держались ближе к вентиляционным решёткам, откуда шёл тёплый, угольный воздух. Пассажиры в городских пальто жались к надстройке, уже поняв, что на корабле их важность ничего не значит. У борта суетился портовый чиновник с папкой; ветер трепал ему бумаги, и он выглядел оскорблённым, как человек, которому природа не выказала должного почтения.

Капитан стоял у сходней — сухой, высокий, с аккуратной бородкой и глазами того серого цвета, который не отражает небо, а сам его производит. Он говорил негромко, но так, что слова доходили до нужного места. О дисциплине. О погоде. О том, что рейс будет непростой. О приказе, который на борту выше всякого частного мнения. О вещах обычных, много раз слышанных и оттого не менее необходимых. Уставные фразы на берегу звучат деревянно; в море они становятся досками настила: по ним ходят, не замечая, пока одна не треснет.

Семён слушал не капитана, а паузу перед отходом. Она всегда одна и та же, но каждый раз новая. Канаты ещё держат судно; на палубе ещё есть лишние люди, которым через минуту придётся сойти; берег ещё рядом, такой близкий, что можно, кажется, одним прыжком вернуться в его грязь, дым, женские платки, в письмо, в избу, в печь. Но машина уже решила иначе. Вода у борта дрожит. Железо ждёт команды. Тело само знает: ты уже не на берегу.

Машинный телеграф коротко, сухо звякнул. Капитан поднял руку. На причале засуетились портовые: мокрые канаты снимали с тумб, подтягивали, бросали на палубу; один конец, тяжёлый и тёмный, шлёпнулся в воду, подняв жирный всплеск. Кто-то из молодых крикнул: «Прощай, земля!» — и сам, кажется, смутился высоты собственного голоса. В ответ другой, постарше, бросил: «Не прощайся раньше времени!» Но шутка не удержалась в воздухе, ветер унёс её сразу.

«Северная Звезда» двинулась не вдруг. Сначала только изменилась вода между бортом и причалом: появилась узкая тёмная щель. Потом щель стала полосой. Потом берег, ещё минуту назад твёрдый и единственный, начал отступать, как отступает во сне комната, когда просыпаясь и не можешь удержать её очертаний.

Женщины на пристани уменьшались. Платки превращались в пятна, лица — в светлые точки, жесты — в догадку. Семён стоял у борта и молчал. Он не махал рукой. Не хотел делать вид, будто расставание можно завершить красивым движением. В правом кармане лежало письмо. В левом, под ладонью, тикали часы.

«Последний берег», — подумал он.

Не последний вообще — таких слов он не любил, в них слишком много театра и слишком мало морской правды. Но именно этот берег, эта пристань, эти женщины, этот мокрый настил, этот город с низким небом уходили от него так, как ещё никогда не уходили. Сорок лет он покидал землю и возвращался. Сегодня он впервые почувствовал: возвращение уже не входит в самую привычку пути. Его ещё можно желать, можно обещать жене, можно занести в судовой журнал как назначение рейса. Но внутри счёт пошёл иначе.

Он прижал ладонь к карману. Часы отвечали ровно, настойчиво, маленьким металлическим сердцем. Пока они идут, время не кончилось. Пока они идут, можно стоять на палубе, слушать ветер, видеть, как берег становится линией, а потом — мыслью. Пока они идут, человек ещё принадлежит не смерти и не морю, а следующей минуте.

А что будет, когда стрелки остановятся, Семён Игнатьевич решил пока не знать.

Глава 3. Команда

В первые часы пути море ещё не вполне море. Вода за кормой тянется речная, тяжёлая, с ледяной кашей по краям фарватера; берег то прячется за дымом, то снова проступает серой полосой, будто не решается отпустить судно сразу. Но корабль уже перестал принадлежать земле. Это чувствовалось не по горизонту и не по карте, а по людям: у каждого менялось лицо. На пристани они были мужьями, сыновьями, должниками, пьяницами, женихами, беглецами от домашней скуки. Здесь, на палубе «Северной Звезды», все эти земные имена понемногу снимались, как лишняя одежда. Оставалось главное: кто где стоит, что умеет, сколько выдержит.

После обеда Семён Игнатьевич вышел наверх. В кают-компании дали жидкий суп, серый хлеб и соль — еда без памяти, казённая, но горячая. Она осела в груди не сытостью даже, а маленьким доказательством порядка: котёл топится, камбуз работает, люди едят, значит, рейс вошёл в свой обычный счёт. На палубе ветер сразу выдул из него тепло. Семён застегнул воротник, прищурился и остановился у выхода, давая глазам привыкнуть к простору.

Пароход шёл ровно, но в этой ровности уже была скрытая сила. Под досками, под железом, под сапогами людей глухо работала машина. Судно ещё не вышло в чистую воду, и всё же палуба стала другой: шире, чем у причала, строже, требовательнее. На берегу вещь может лежать где попало и дожидаться завтра. В море даже забытая тряпка получает значение, если о неё в темноте споткнётся человек с концом в руках.

Команда распределилась сама собой. Капитан стоял у левого борта, чуть укрытый надстройкой от ветра. Высокий, сухой, с серыми глазами и бородкой клинышком, он смотрел не на людей и не на воду, а будто в то место впереди, где ещё ничего не видно, но уже что-то решено. Руки держал за спиной. В этом жесте не было позы: так держат руки те, кто знает, что любой лишний взмах начальника рождает лишнюю суету у подчинённых.

Штурман вертелся рядом — не суетился явно, но выдавал себя глазами. Молодой ещё, лет тридцати, с быстрым лицом и улыбкой, которую он надевал раньше, чем понимал, нужна ли она. Он смотрел то на компас, то на капитана, то на воду, и всякий раз будто проверял, совпадает ли мир с тем, чему его учили. Семён не осуждал его. Каждый когда-нибудь впервые оказывается на своём месте и пугается не моря, а самого места.

У носа матросы делали то, что моряки всегда делают в первые часы: занимали руки. Один подтягивал леер, хотя тот и так сидел крепко; другой сматывал швартовый конец в бухту, которая ещё не раз будет распущена и смотана снова; третий, старый, с лицом в мелких морщинах, протирал мокрой тряпкой кнехт и делал вид, что занят делом первейшей важности. Семён знал эту привычку. Если руки оставить пустыми, они начнут выдавать тревогу: терзать пуговицу, мять шапку, искать папиросу. Лучше уж верёвка, железо, узел. Хоть какая-то польза.

Возле вентиляционных грибков курили кочегары. Они вылезли наверх глотнуть холодного воздуха, но и холод не мог сразу смыть с них подземный жар. На скулах уже лежала угольная пыль, глаза краснели, смех выходил хриплый, с надсадой. От них пахло топкой, потом и тем чёрным хлебом угля, которым кормят пароходное сердце. Они держались особой кучкой: не выше матросов, не ниже, а отдельно. У людей огня всегда свой закон.

Семён пошёл по палубе медленно, своим экономным шагом. Он кивал знакомым, но разговоров не искал. Сейчас все были ещё «до»: до первой тяжёлой ночи, до настоящей качки, до усталости, когда человек перестаёт играть выбранную роль. На берегу храбрость дешёва. В порту любой может быть балагуром, смельчаком, любимцем женщин и грозой кабаков. Море потом без злости, даже без любопытства, снимет с него всё лишнее и оставит то, что есть. Семён за сорок лет видел это столько раз, что перестал верить первым словам. Он верил рукам, спине, глазам в третью ночь без сна.

— Семён Игнатьич!

Он обернулся. От молодых у вант отделился Степка — веснушчатый, широколобый, с ресницами такими светлыми, что лицо от этого казалось моложе. На прошлых рейсах он ещё бегал юнгой, путался под ногами и всё время боялся сделать не так. Теперь на нём красовались новые нашивки. Он нёс их на себе с гордостью и смущением, как мальчишка, которому впервые доверили отцовский нож.

— Говорят, ты опять с нами, — сказал он, почти запыхавшись, хотя прошёл всего несколько шагов. — А я думал, ты на берегу останешься. Жена-то, поди, не хотела отпускать?

— Жёны редко хотят, — ответил Семён. — Просто одни говорят, другие молчат.

Степка смутился, но улыбнулся. Ему нравилось, когда старик отвечал не прямо: казалось, за такими словами прячется какой-то морской секрет.

— А капитан новый, — сообщил он, понизив голос. — Сухой, говорят. Как трюм после ремонта. Ты его знаешь?

— Капитанов лучше узнавать в деле, а не по разговорам.

— Значит, не знаешь?

— Значит, не спешу знать.

К ним подошёл второй молодой — длинный, нескладный, в слишком чистом бушлате. Чистота эта сразу выдавала новичка: одежда ещё не успела принять форму тела, соль не съела ворс, уголь не забился в швы. Лицо у него было городское, бледное, с большими глазами человека, который хочет видеть всё и оттого не замечает главного.

— Это Петруха, — сказал Степка. — С берега. Первый раз идёт. Совсем зелёный.

— Пётр, — тихо поправил тот и протянул руку. — Писарев. Я в управе служил. Бумаги переписывал. Потом...

Он замолчал. Дальше у него, видно, не было готовой фразы. Как объяснить, что из тёплой конторы, где чернила сохнут на промокашке, а за окном каждый день одна и та же улица, человек вдруг попал сюда — к мокрым канатам, железу, ветру, чужим рукам, чужим окрикам?

— Надоело сидеть, — сказал Семён.

Пётр покраснел пятнами.

— И это. А ещё хотелось... настоящего.

Семён не усмехнулся. Слово было глуповатое, книжное, но когда-то он сам носил его в груди, только не умел так назвать. «Настоящее» — каждый юнец ждёт от моря именно его, будто море обязано выдать человеку правду за одну смелость явиться на борт.

Он пожал Писареву руку. Ладонь оказалась мягкая, влажная, конторская. Но взгляд был честный, без хитрости. Это ещё ничего не значило, но и не было пустяком.

— Слушай, Писарев, — сказал Семён. — В конторе ошибся строкой — переписал. Бумагу уронил — высушил. Здесь иначе. Узел неправильно завязал — и кто-нибудь сорвётся. Конец не там бросил — кто-нибудь ногу ломает. Забыл закрыть люк — вода вспомнит за тебя. Понял?

— Так точно, — поспешно сказал Пётр.

— Не так точно. Просто понял или нет?

Пётр помедлил.

— Не до конца.

— Вот это уже лучше.

Степка фыркнул, но Семён глянул на него — не строго, только внимательно, — и тот сразу затих.

— На море человек, который сразу всё понял, опаснее дурака, — сказал Семён. — Дурак хоть иногда боится. А этот полезет, куда не просили, и ещё других потащит.

Он наклонился к бухте у ног Петра, вытащил из неё конец и быстро, без показной ловкости, завязал простой узел. Потом распустил.

— Повтори.

Писарев взял верёвку неловко, как берут незнакомый инструмент, который может обидеться. Первую петлю сделал слишком широко, вторую затянул не туда. Степка уже открыл рот, чтобы подсказать, но Семён поднял палец. Писарев сам заметил ошибку, покраснел ещё сильнее, переделал. Узел вышел кривой, но держал.

— Запомни не руками — руками забудешь, — сказал Семён. — Запомни кожей. Верёвка должна лежать так, чтобы ты ночью, не глядя, понял: выдержит или нет.

Пётр кивнул. На этот раз без поспешности.

— Ступайте, — сказал Семён. — Вам сейчас полезнее бегать, чем рассуждать. Смотрите, кто как делает. Только у болтунов не учитесь.

Молодые отошли. Степка сразу начал что-то объяснять Писареву, размахивая руками с важностью человека, который сам вчера ещё не умел, а сегодня уже наставник. Семён смотрел им вслед и думал, что поколение на корабле меняется не сразу, а вот так: один мальчишка учит другого завязывать чужую ошибку. Море принимает эту смешную преемственность и потом, когда надо, спрашивает с неё без скидок.

От вентиляционных люков потянуло жаром. Семён свернул туда. Он любил заглядывать вниз, хотя служба не требовала. Палуба — лицо судна; мостик — его разум; а машина — сердце, слепое, горячее, не знающее ни молитв, ни приказов, кроме давления, тяги и пара. Если там что-то пойдёт не так, вся морская выправка наверху станет красивой бесполезностью.

Железная лестница в машинное отделение была крутая, с поручнями, отполированными ладонями до тусклого блеска. Уже на первых ступенях воздух изменился: ветер исчез, вместо него поднялась вязкая горячая тяга. Шум становился плотнее с каждым шагом. Внизу не разговаривали — там либо кричали, либо молчали. Поршни били ровно; в трубах дрожал пар; от котлов шёл оранжевый свет, словно в железном брюхе судна держали запертый закат.

Кочегары работали у топок голые по пояс. Пот прочерчивал светлые дорожки на чёрной от угля коже. Лопаты входили в уголь с хрустом, уголь летел в раскалённые пасти, огонь на мгновение вспыхивал ярче и снова прятался за дверцами. В этом труде не было ничего красивого для чужого глаза, но была величина: они кормили движение. Пока их руки поднимались и опускались, «Северная Звезда» шла вперёд.

— Э, морской пожаловал! — гаркнул один из кочегаров, низкий, широкий, с руками как обожжённые корни. — Наверху скучно стало, Игнатич? Пришёл посмотреть, как люди работают?

— Пришёл согреться, — ответил Семён, перекрикивая гул. — Старость к печке тянется.

Кочегар рассмеялся, кашлянул и снова швырнул уголь в топку.

Механик Михалыч стоял у приборов. Сухой, жилистый, в кителе, навсегда пропитанном маслом, он держался среди труб и манометров так, будто это был не адский подвал, а его кабинет. Стрелки дрожали под стеклом; уровни воды в котлах стояли ровно. Михалыч бросил на Семёна короткий взгляд — не вопросительный и не приветственный, а рабочий: увидел, принял.

— Опять вместе, Семён Игнатич, — сказал он. — Жена всё-таки отпустила?

— Сказала: иди, раз надо.

— Умная женщина.

— Умные женщины чаще всего несчастные.

Михалыч усмехнулся краем губ, но спорить не стал. Они давно знали друг друга достаточно, чтобы не разворачивать каждую фразу в разговор.

— Как машина? — спросил Семён.

— Идёт. Пока не капризничает. Но слушать надо. У старых машин характер как у старых людей: если скрипит, не всегда жалуется; иногда предупреждает.

Семён кивнул. Эту правду он понимал.

У угольного бункера возился новый мальчишка, ещё моложе Писарева. Худой, с тонкой шеей, он поднимал лопату так, будто та была наполнена не углём, а камнем для собственной могилы. Пыль прилипла к бледному лицу пятнами; глаза слезились. Он пытался не кашлять при старших и оттого кашлял ещё мучительнее.

— Городской, — сказал Михалыч. — Вчера просился к делу, сегодня дело его нашло. Посмотрим, кто кого.

— Имя есть?

— Федька. Фамилию не запомнил. Пока не заслужил, чтобы я её помнил.

Федька услышал своё имя, дёрнулся и рассыпал пол-лопаты мимо топки. Один кочегар выругался. Михалыч не повысил голоса.

— Подметёшь после вахты, — сказал он. — А сейчас не стой над просыпанным, как вдова над могилой. Работай.

Мальчишка кивнул и снова взялся за лопату. Семён отметил это движение: испугался, но не бросил. Хороший первый ответ. Не подвиг, конечно. На корабле подвигами любят называть то, что чаще всего является просто несделанной вовремя работой. Но для мальчишки и это уже было началом.

Когда Семён поднялся обратно, палуба встретила его холодом так резко, будто он вышел из бани под северный ветер. Небо стемнело. В море ночь приходит без городских приготовлений: нет фонарей, окон, вывесок, привычных задержек света. Просто одна минута — и мир уже состоит из чёрной воды, чёрного воздуха и нескольких жёлтых пятен на палубе. Позади ещё мерцали огни Архангельска, мелкие, дрожащие, почти стыдные перед этой темнотой.

У кормы стоял боцман Ермаков — грузный, краснолицый, с носом, испещрённым лопнувшими жилками. Его голос, даже когда он говорил тихо, звучал так, будто привык перекрывать ветер.

— Завтра к полудню выйдем из этой каши, — сказал он, не оборачиваясь. — Там и посмотрим, что за народ набрали. Река всех держит за ручку. Море — нет.

Семён встал рядом. Поручень был мокрый, холодный; ладонь сразу занемела, но он не убрал её.

— Молодых много, — сказал он.

— Молодые — не беда. Беда, когда старые забывают, что тоже были молодыми.

— Мудро заговорил, Ермаков.

— Это я от холода. Когда тепло, я глупее.

Они помолчали. Ни один не смотрел на другого. Моряки редко нуждаются в лицах, когда говорят о главном; достаточно стоять плечом к плечу и смотреть в одну темноту.

Семён думал о команде. Не о списке в судовом журнале, где фамилии стоят ровно и послушно, будто все люди одинаковой длины. О настоящей команде, которая ещё только должна была родиться из этой случайной смеси: капитан со своими серыми глазами; молодой штурман с нервной улыбкой; Степка, гордый нашивками; Писарев с мягкими руками и честным стыдом; Федька у топки; Михалыч среди труб; кочегары, матросы, Ермаков. Каждый принёс на борт свою тайную тяжесть. Море не спросит, кто от чего бежал и кто к чему стремился. Оно спросит проще: удержишь или нет?

Команда ещё не знала, что для него этот рейс последний. Для них он был просто Семён Игнатьич: старший матрос, надёжный, молчаливый, иногда резкий, но справедливый. Они не видели той черты, которую он чувствовал перед собой с самого отхода. Может быть, и хорошо, что не видели. Человеку легче стоять рядом со стариком, пока он не превращён в предзнаменование.

В кармане под шинелью тикали часы. Их маленький ход терялся в ветре и гуле машины, но Семён всё равно слышал его внутренним слухом. Время шло не только у него. Оно шло у всего корабля: у капитана, который ещё не знал, какой приказ станет роковым; у Писарева,

который сегодня завязал первый узел; у Федьки, который ещё кашлял угольной пылью; у женщин на берегу, уже, наверное, расходившихся по домам. Все они были связаны теперь одной дорогой, одной железной оболочкой, одним чёрным пространством вокруг.

— Завтра, значит, чистая вода, — сказал Семён.

— Если погода не передумает, — ответил Ермаков.

Семён посмотрел туда, где темнота была гуще всего. Море действительно не заставит себя ждать. Оно никогда не спешит и никогда не опаздывает. Оно приходит ровно тогда, когда люди начинают думать, будто уже поняли друг друга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.